

И. Стрельникова

Николай Гоголь: святой, грешник или сумасшедший?

В одно декабрьское утро 1828 года, часов в девять, в приемной дома на Английской набережной, где жил директор Императорских театров князь Сергей Сергеевич Гагарин, появилась удивительная фигура. Молодой человек, кривоногий, хилый, но с круглым брюшком. Лицо неувлочно-странное: чрезвычайно длинный, тонкий и подвижный нос, которым юноша, очевидно от смущения, пренеприятнейшим образом доставал выпяченную нижнюю губу, круглые, настороженные, почти не моргающие глаза, жидкий хохолок завитых волос. В сочетании с манерой глядеть несколько наискось все это придавало облику утреннего визитера что-то птичье. Костюм его за версту отдавал провинцией: галстучек цвета испуганной нимфы, малиновые панталоны, сияющий изумрудными искрами жилет, короткий сюртук с чрезвычайно высокой талией, широкими лацканами и чрезмерными буфами на плечах. И в довершение всего — раздувшаяся от флюса щека, перевязанная платком.

Молодой человек изъявил желание видеть князя. «В такое время? – удивился лакей. – Но его сиятельство еще почивают». Визитер выказал готовность подождать. Часа через три он был удостоен аудиенции, представился: «Николай Васильевич Гоголь-Яновский. Желал бы поступить на сцену находящегося под вашим попечением театра». «Гоголь... Если не ошибаюсь, в Малороссии так называют какую-то птицу, кажется селезня», – подумал князь Гагарин, оглядев странную фигуру. И вслух поинтересовался: «На какие же роли изволите претендовать?» «На драматические. Хотел бы сыграть Гамлета. Позвольте прочесть монолог?» В ожидании ответа претендент в принцы Датские вдруг выпятил нижнюю губу и достал до нее носом, очевидно от волнения. «И каких только чудачков не бывает на свете», – подумал князь и, чтоб не связываться самому, дал молодому человеку записочку к репертуарному инспектору. Ну а уж тот в свою очередь выдал официальное, с печатью театра уведомление, что «господин Гоголь-Яновский имеет фигуру, совершенно неприличную для сцены вообще и для трагедии в особенности».

Года через четыре, когда Гоголь сделался известен как литератор, князь Гагарин припомнил этот эпизод и изумился: «В таком чудачке да такой большой талант?»

Впрочем, когда Николай явился в Петербург из Нежина, о писательской славе он и не помышлял, хотя в его дорожном сундуке и хранилась тетрадка с гимназической поэмой «Ганс Кюхельгартен». Кроме театра у него было намечено несколько вариантов карьеры. Например, пост министра юстиции (пусть не сразу, а со временем). Или можно пойти в портные, маляры или повара. «Я много знаю ремесел!» – утверждал Николай, будто бы такие перспективы мыслимы для дворянина. Впрочем, за исключением шитья, которым юноша действительно по странной прихоти увлекался (сам кроил себе шейные платки и жилеты, а иной раз даже платья сестрам), все остальные умения являлись плодом чистого воображения. Но таков уж был этот человек — все мешалось в его фантастической голове: министр и повар, трагедия и комедия, и реальность утрачивала границы.

Мертвая мысль

Мальчиком Николаша часто слышал голос, явственно произносивший его имя откуда-то из-за спины. А обернешься — нет никого. В такие минуты мертвящий ужас охватывал все его существо. Мать с отцом называли подобные его состояния «припадками», впрочем, так в доме именовались любые болезни, недомогания и странности. От «припадков» полагался горький настой домашнего изготовления — его рецепт незнамо когда и откуда был вписан в гигантскую коленкоровую тетрадь, которую, страница за страницей, мать наполняла хозяйственными секретами. В частности, содержался там

такой: «Если в трубе загорелась сажа, надобно бросить через верхнее отверстие вниз гуся, который, погибая, собьет пламя крыльями».

Уклад в родовом поместье Васильевке под Полтавой был самым провинциальным. На стенах гостиной — пожелтевшие литографии (казак с чубуком, казачка на ярмарке) и в золоченой раме засиженный мухами портрет графа Зубова. В погребе сало, домашние наливки, соленые грибы да моченые яблоки. В саду клумба, по которой вечно разгуливают собаки, куры и свиньи, беседка, увенчанная золотой надписью: «Храм уединения», и маленький пруд с утками и гусями.

С этим прудом было связано одно из самых жутких Николенькиных воспоминаний детства. Как-то раз он засиделся ночью в гостиной один. За окном — темень, уши режет неприятная тишина, и вдруг жуткий, долгий скрип приоткрываемой двери: в комнату откуда ни возьмись вошла худая облезлая черная кошка. «Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, и мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, а зеленые глаза искрились недобрым светом». И тут кошка утробно замыкала. Содрогаясь от страха и отвращения, он схватил несчастное животное, сунул его под куртку и по ночному парку потащил к пруду. Там он кошку и утопил, для чего пришлось целый час отталкивать ее от берега палкой, когда она пыталась выплыть. Много позже, уже взрослым, Гоголь тростью колотил червяков и ящериц: все увертливое (как он говорил, «вихляющее»), так же как и все холодное, склизкое представлялось ему сродни черту.

Черта в семье боялись и говорили о нем гораздо чаще, чем о Боге. Гоголи-Яновские вообще были подвержены суевериям и в любом мельчайшем событии и обстоятельстве видели те или иные предзнаменования. Поразительна сама история родительской женитьбы: отец, Василий Афанасьевич, четырнадцати лет от роду увидел во сне новорожденного младенца женского полу и, проснувшись, догадался, что сон вещий и что тот младенец — его суженая. А через год, проезжая через хутор помещиков Косяровских, узнал приснившегося младенца в годовалой девочке Маше Косяровской. С тех пор он дневал и ночевал на том хуторе, играл с Машей в куклы, учил ее понемногу и сгорал от нетерпения: когда же суженая подрастет. Когда ей минуло 14 лет, нетерпеливый Василий Афанасьевич настоял на немедленной свадьбе. Но Мария Ивановна была слишком юна для взрослой жизни, и дети у нее один за другим рождались мертвыми.

Когда мать носила под сердцем Гоголя, кто-то надоумил ее съездить в деревеньку Диканьку, поклониться образу Николая Чудотворца и дать обет назвать ребенка, если это будет сын, Николаем. Так и вышло. Как ни странно, между долгожданным первенцем и родителями с самых ранних пор установился холодок равнодушия. Хотя внешне Николай придерживался самой елейной и приторной сыновьей почтительности. Например, узнав о скоропостижной кончине отца, писал из гимназии:

«Не беспокойтесь, дражайшая маминька! Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, сперва я предался всей силе безумного отчаяния и хотел даже посягнуть на жизнь свою. Но Бог удержал меня от сего».

Письмо заканчивалось низжайшей просьбой выслать десять рублей.

Учился Николай из рук вон плохо и по аттестации учителей был «туп и слаб». Товарищи же дали ему более выразительное определение, прозвав «мертвой мыслью». Он ни в ком не вызывал симпатии: золотушный, хилый, из ушей у него текло (следствие перенесенной в раннем детстве инфекции), а руки были липкими, потому что Гоголь вечно объедался сладостями. Кроме того, мальчик имел пренеприятнейшую манеру визжать, словно безумный, когда наставник порол его за какую-нибудь провинность. Сам мальчик очень мало страдал из-за своей дурной репутации — он вообще отличался каким-то удивительным бесчувствием к внешнему миру и был слишком погружен в самого себя.

С Пушкиным на дружеской ноге

Первым плодом этой погруженности стала поэма из немецкой жизни. В Петербурге Гоголь вспомнил о ней и, выпросив у матери денег, издал под псевдонимом В. Алов и с предисловием якобы от лица издателей:

«Мы гордимся, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта».

Журнальная критика, разнося в пух и прах поэму с ее кладбищенским романтизмом, над предисловием поиздевалась отдельно.

Гоголь, мучимый ужасом, что его авторство откроется, бегал по Петербургу и скупал злосчастного «Ганса» экземпляр за экземпляром. Три дня печь в его доме топилась исключительно поэмой. Совершив это первое, но далеко не последнее в своей жизни «литературное аутодафе», Гоголь из Петербурга сбежал. Вернее, в один прекрасный день обнаружил вокруг себя вместо давящего и промозглого коридора петербургских улиц веселые «пряничные» домики немецкого Любека. Как и зачем он сюда приехал — тонуло в тумане. Очевидно, в горячке. Причем на путешествие были истрачены те 1450 рублей, что были присланы из дома матерью для уплаты в Опекунский совет годовых процентов за заложенную Васильевку. Гоголь понимал, что должен как-то объяснить произошедшее. Но как? Он сочинил версию, наилучшим образом отвечающую характеру и интеллекту матери:

«Какое ужасное наказание! Маминька! Дражайшая маминька! Нет, это не любовь была. В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал упиться одним только ее взглядом. Но, ради Бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока».

Впрочем, уже на другой день Николай забыл об этой весьма романтической версии и выдвинул новую, медицинскую: якобы он уехал в Любек лечиться водами от загадочной сыпи на лице и руках. Мария Ивановна, сопоставив два письма, решила, что сын заразился венерической болезнью. От этой путаницы Гоголь совсем расстроился и помчался домой объясняться.

Твердо решив покончить с чудачествами, Николай подал прошение на имя вице-президента Департамента уделов:

«Имея желание служить под лестным начальством Вашего Превосходительства, приемлю смелость всепокорнейше просить об определении меня на должность писца».

И водворился в огромной общей зале, где, уткнувшись подбородком в жесткий стоячий воротничок вицмундира, скрипел пером среди десятков таких же мелких безымянных чиновников с копеечным жалованьем. Досадовал в письмах к матери, что взятки нынче «гораздо ограничены; если же и случаются какие-нибудь, то слишком незначительны», и просил ее прислать что-нибудь из старинного запорожского казацкого платья или оружия, чтобы «прислужиться этим одному вельможе, страстному любителю отечественных древностей, от которого зависит улучшение моей участи».

Но вскоре его письма домой зазвучали совершенно по-новому:

«Испанский посланник, большой чудак и погодопредвещатель, уверяет, что такой непостоянной и мерзкой зимы, как будет нынче, еще никогда не бывало».

Или:

«Я здесь не скучаю. Почти каждый вечер собираемся мы: Жуковский, Пушкин и я».

Дело в том, что Гоголь принялся за писание своих «Вечеров на хуторе близ Диканьки», показал кое-кому свои наброски и в качестве начинающего литератора был представлен Жуковскому. Тот, кроме всего прочего, был наставником наследника престола и Гоголя тоже пристроил в учителя. Правда, не к наследнику, а к молодому князю Васильчикову — идиоту от рождения. Все учение состояло в том, чтобы показывать картинки

и объяснять: «Вот это, Васенька, барашек: бе-е-е, а вот это корова: му-у-у». Но зато можно было не ютиться по дешевым углам, а жить в княжеском доме в Павловске, к тому же масса времени оставалась для писательства.

Рассказывали, что Гоголь чуть было сразу не лишился места, прогневав княгиню Васильчикову. Она потеряла мать, сильно грустила, и Николай принялся утешать ее рассказом о каком-то помещике, у которого умирал единственный сын. Мол, старик придавал огромное значение тому, чтобы не отходить от больного, боялся заснуть, но в конце концов не совладал с усталостью... Не проспал он и часа, как его будят: сын умер. «Ну и что же бедный отец?» – ахнула княгиня. «Да что ж ему делать? Растопырил старик руки да и свистнул: «Фью-фью», – хладнокровно закончил рассказчик. Присутствующие покатались со смеху, но княгиня страшно рассердилась.

Что касается испанского посланника, с ним Гоголь, разумеется, никаких сношений не имел. Впрочем, раз уж жил в аристократическом доме, мог слышать о нем из третьих уст. Зато Жуковский к Гоголю действительно благоволил. В отличие от Пушкина, тоже познакомившегося с многообещающим малороссом, но относившегося к нему несколько сдержанно. Что не помешало Гоголю, к изрядной досаде Александра Сергеевича, велеть маменьке:

«Письма адресуйте ко мне на имя Пушкина, в Царское Село, с припиской: “Для передачи Гоголю”».

Любил он при случае прихвастнуть!

Впрочем, успех Гоголю действительно сопутствовал: «Вечера» понравились всем. Правда, те, кто был хорошо знаком с украинской жизнью, упрекали автора за несоответствия: мол, казаки не играют на бандурах, а браки не заключаются на ярмарках. Подозревали даже, что Гоголь и вовсе никогда не бывал на Украине. Но из-за таких мелочей он не расстраивался: что из того, что он неприметлив на детали! На то и буйное воображение, чтобы заново измышлять реальность...

Из того же источника, то есть из буйного воображения, Гоголь черпал и сведения по истории, когда стараниями друзей получил место адъюнкт-профессора истории в столичном университете. Как такое могло случиться — загадка! Гоголь, который с грехом пополам окончил гимназию в Нежине, самообразованием почти не занимался, способностей к наукам не имел, вдруг очутился на университетской кафедре! Иван Тургенев, который как раз был тогда студентом, утверждал, что более нелепых лекций никогда не слыхивал. При всем своем хлестаковском самомнении Гоголь все же опасался разоблачения со стороны более сведущих коллег и на экзамены являлся с щекой, подвязанной все тем же старым добрым платком. Он и вправду был подвержен хроническому флюсу, но тут обострения приняли удивительно регулярный характер: как ни экзамен, так адъюнкт-профессор совсем не может разговаривать! Интересно, что в письмах петербургским знакомым он называл себя просто «профессором», опуская прибавку «адъюнкт» (то есть помощник, ассистент), зато перед провинциалами называл свою должность полностью, и те часто обманывались сходством с «генерал-адъютантом», а то и с «адъютантом Его Императорского Величества». Так вышло и когда Гоголь, собравшись в Киев, подговорил приятеля ехать вперед и распространять везде слух, что следом инкогнито едет ревизор. Таинственному «адъюнкту» не пошло ни дожидаться лошадей у станционных смотрителей, ни платить в трактирах. Словом, когда Гоголь, сочинив «Ревизора», стал громко выражать благодарность Пушкину за якобы подаренный сюжет, это была скорее дань его желанию представить знакомство с гениальным поэтом более душевным, чем оно было на самом деле. Впрочем, Пушкин, которому комедия понравилась, охотно поддержал этот миф, жалуясь: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя!»

Переписка с друзьями

«Ревизор» вызвал в России скандал. И хотя император Николай отнесся к пьесе благосклонно, сказав: «Тут всем досталось, а больше всего мне», Гоголь испугался и снова уехал за границу. На этот раз надолго. Колесил безо всякого плана из города в город, не успевая составить сколько-нибудь внятное впечатление. Он, впрочем, действительно был на редкость ненаблюдателен. Разве что заметит: «В таком-то городе нечистоты льют на улицу и очень воняет, а в таком-то все стекает в подземные трубы и вони на улицах нет». Друзья поражались: неужели во всей Европе нет ничего более достойного внимания, чем запах?!

Больше всего Гоголю понравился Рим: его буйное цветение наполняло его «неистовым желанием превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны». Еще он писал о Риме:

«Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департаменты, кафедра, театр — все это мне снилось».

Здесь, в древнем городе, непоседливый Николай Васильевич оседал на долгие месяцы, всякий раз снимая комнаты на виа Феличе, то есть на улице Счастья. И чувствовал себя почти дома! Но сюжетов из римской жизни описывать не любил. В качестве источника вдохновения он вообще предпочитал именно «сны», а не натуру, и, находясь в Петербурге, сочинял повести о Диканьке и Миргороде, а в Риме — о Петербурге и губернском городе N.

Был в Риме у Гоголя и закадычный друг — художник Александр Иванов. Уже несколько лет тот трудился над своим «Явлением Христа народу», создал несколько сотен этюдов, без конца менял композицию. Одного из персонажей — человека в красном плаще в самом конце вереницы паломников — он писал с Гоголя. По общему мнению, Иванов был сумасшедшим. Он не ел в трактирах, считая, что итальянские официанты все как один подкуплены злодеями, чтобы его отравить. Еще бы! Ведь русский художник задумал не простую картину, а такую, которая весь мир перевернет и отвратит человечество от грехов. Когда Иванов, наконец, решился от набросков перейти к самой картине и заказал для нее холст размером почти с бальную залу (5,4 на 7,5 метра!), все только утвердилось во мнении о его безумии. Некоторое время картина держалась прямо под открытым небом, благо климат в Италии недождливый. Потом художник арендовал мельницу, где картина все-таки в развернутом виде целиком не помещалась, и приходилось, работая над одной стороной полотна, вторую сворачивать. И так день за днем, месяц за месяцем, все двадцать лет!

Уже после смерти Гоголя Иванов привез, наконец, свою картину в Петербург (жаль, что подробности транспортировки остались неизвестными) и выставил в Академии художеств. В назначенный день и час заинтригованная публика вошла в зал и увидела... Иванова на лестнице, который что-то подправлял на полотне. Увы! Картина большого впечатления на современников не произвела. Сам же художник вскоре умер от холеры в полной нищете, а через несколько часов после похорон на квартиру к нему явился фельдъегерь с сообщением, что император покупает картину за 15 тысяч серебром и награждает ее автора орденом Святого Владимира. Может, и хорошо, что такая награда не застала Иванова живым: ведь он мечтал не о ней, а о том, чтобы повернуть вспять историю человечества...

Могла ли столь безумная идея, как спасение мира посредством искусства, не пленить Гоголя, столь наклонного ко всему фантастическому? Он с готовностью признал, что без проповеднической идеи искусство вообще и литература в частности — занятия довольно пустяковые. Что с того, что «Мертвыми душами» к тому времени зачитывалась вся Россия, признавая Гоголя безусловным гением, а его книгу — абсолютным шедевром?!

Даже мать Николая Васильевича чувствовала в такой славе какую-то неосновательность и, уразумев с чужих слов, что сын ее — гений, все никак не могла уловить, в чем же именно состоит эта его гениальность. И придумала для себя более прочную версию, которую повторяла с безумным упорством: мол, ее Николенька изобрел пароход, паровоз и телеграф. Вот и сам Гоголь задумал облагодетельствовать человечество чем-нибудь посущественнее «побасенок».

С некоторых пор он стал посылать друзьям в Россию очень странные письма с подробнейшими инструкциями, как жить и что делать. Аксаковым он настоятельно рекомендовал читать жития святых, другу детства Данилевскому — покинуть деревню и ехать служить, Вяземскому — писать историю Екатерины II, При этом требовал, чтобы адресаты перечитывали его письма ежедневно вслух в присутствии всей семьи, в особенности во время Великого поста. Люди, получавшие такие письма, не знали, что и думать. Аксаков был одним из немногих, кто решился дать Гоголю прямой отпор:

«Друг мой! Я ни на минуту не усомнился в том, что вы желаете мне добра. Но мне пятьдесят три года. Я читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились. И вдруг вы меня насильно, как мальчика, сажаете за эту книгу, да еще и в строго указанное время, после кофею. И смешно, и досадно!»

Многие, впрочем, догадывались, что дело тут в душевном нездоровье Николая Васильевича...

Он и правда был нездоров. Все началось в Вене в 1841 году. Гоголь поехал туда на воды, подлечить свою кишечную болезнь, которой страдал с детства. Но воды оказали странное действие:

«Гемморойд мне бросился на грудь, и нервическое раздражение произошло во мне такое, что я не мог ни лежать, ни сидеть, ни стоять. К тому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания».

Что это было? Учитывая странное заявление о «гемморойде, бросившемся на грудь», и друзья, и врачи сочли, что Гоголем овладела очередная блажь. Но сам он с тех пор, то есть с 32 лет, не жил, а медленно умирал, хотя постороннему глазу и не было ничего заметно. Жаловался друзьям:

«Мучают боль во всем теле и озноб: ни днем ни ночью не могу согреться. Похудел и пожелтел страшно. Ничего не могу есть до шести часов вечера, аппетит совсем пропал».

Обеспокоенные друзья бросались к нему в Рим и... заставляли его в трактире розовощеким и бодрым, поглощающим, к удивлению итальянцев, третью порцию спагетти сряду. И при этом абсолютно сумасшедшим.

Гоголь вдруг вообразил себя святым. Он раздавал налево и направо пророчества, благословения и напутствия. Утверждал, что его друзья, подобно друзьям, о которых говорил Христос, «не могут умереть, потому что вечно живут со мной». Напрасно священники предостерегали его от «прелести бесовской»: Гоголь не унимался, считая, что с момента «венского прозрения» сам Господь заговорил его устами. Мало находилось охотников внимать новоявленному пророку! И все же была у Гоголя верная «ученица» — Александра Осиповна Смирнова-Россет. Она была аристократка и красавица, в 18 лет наделала шуму при дворе, став любовницей 54-летнего князя Голицына, потом за ней ухаживал император. Теперь все это было в прошлом: Александра Осиповна старела, скучала, поклонники один за другим покинули ее, и общество Гоголя было лучшим, что могла предложить ей жизнь. Они проводили вместе целые дни, и каждый раз после обеда Николай Васильевич вытаскивал из кармана толстую тетрадь выписок из святых отцов и наставлял свою подопечную. Однажды он как раз затронул тему о бесовской сущности всякого кокетства, которого добрая христианка должна избегать. Был жаркий летний день, Александра Осиповна слушала, лениво обмахиваясь веером. Вдруг она пристально взглянула на оратора и, прервав его на полуслове, спросила: «Признайтесь, Гоголь, что вы не-

много влюблены в меня?» Он в панике вскочил и, ни слова не говоря, выбежал из комнаты. А через несколько дней принес Александре Осиповне нравоучительную статью под названием с «Женщина в свете». Это был фрагмент из будущей книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Эта книга имела такое же отношение к изящной словесности, как и те хозяйственные записи, которые его мать вносила в толстую коленкоровую тетрадь. Только речь шла не о Васильевке, а о всей России. 32 главы-письма содержали бездну советов на самые разные случаи. Так, женщинам Гоголь рекомендовал разложить хозяйственные деньги на семь кучек — по дням недели — и взять за правило не превышать отведенных на день расходов. Помещикам — удерживать крестьян от чтения книг и вразумлять, что, трудясь на барщине, они трудятся для Бога и что самому помещику ничего не нужно, кроме поддержания установленного Всевышним я порядка, а для убедительности сжечь на глазах у крестьян несколько ассигнаций. «Разбогатеешь ты, как крез», — обещал о Гоголь в случае точного исполнения его рекомендаций. Даже для государя императора у него нашелся совет: «рыдать и молиться день и ночь о страждущем народе своем», и тогда божественная благодать от монарха перейдет к генерал-губернаторам, от них к исправникам и так о далее, по цепочке, в народ.

2400 экземпляров «Выбранных мест» в России были раскуплены за считанные часы. Скандал разразился невыносимый. Гоголя ругали то тартюфом, то сумасшедшим. Ему и самому пришлось в конце концов признать: «Я размахнулся в моей книге совершеннейшим Хлестаковым!» Но Гоголь не сдался. Он возлагал большие надежды на другую свою проповедь — продолжение «Мертвых душ».

Едва отправив Чичикова прочь из города N, Гоголь задумал писать продолжение. «Мертвые души» следовало построить по принципу дантовской «Божественной комедии»: первый том — ад, второй — чистилище, третий — рай. В финале, по замыслу Гоголя, Чичиков под влиянием умного священника должен был уйти в монастырь и кончить свои дни святым старцем. Таким образом всей России указывался бы путь выхода из духовного кризиса. Работа, впрочем, не шла, сам материал отчаянно сопротивлялся такому повороту событий. Недовольный Гоголь еще в Риме несколько раз жег написанное. Оставалась одна надежда: ехать в Россию и там искать вдохновения.

В стиле Гоголя

Поселился в Москве, на Никитском бульваре, в квартире у приятеля, графа Александра Петровича Толстого. Здесь он и правда обрел на время второе дыхание. Напоследок Гоголь даже чуть не женился — это он-то, которого называли вечным девственником!

В семье графов Виельгорских младшую дочь Анну называли Нози. Красотой она не отличалась, а Гоголь был так явно, так бесспорно равнодушен к вопросам любви, что графиня-мать легко допустила их дружбу. И снова Гоголь проповедовал, а Нози с интересом внимала. Он без устали твердил: «Вам совсем не к лицу танцы: ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы нехороши собой. Знаете ли вы это достоверно? Вы бываете хороши только тогда, когда в лице вашем появляется благородное движение». Она простодушно спрашивала: что же ей делать, если душа ее жаждет любви? Он подумал-подумал, да и решил уберечь юную графиню от возможных посягательств бездушных охотников за приданым, женившись на ней. Родные Нози отвергли предложение с самым оскорбительным для Гоголя недоумением: он был не ровня графам Виельгорским. Несостоявшийся жених не особенно огорчился. Тем более что ему в голову сразу же запала противоположная идея: уйти в монастырь...

Это предложил духовник Гоголя — отец Матфей Константиновский, простой уездный батюшка из Ржева, обладавший недюжинным даром проповедника и огромным влиянием на Гоголя. Желая избавить своего духовного сына от греха гордыни, отец Матфей рекомендовал Николаю Васильевичу оставить творчество и принять постриг. Того; даже ездил проситься в Оптину пустынь к старцу Макарию, который, впрочем, постриге Гоголю решительно отказал. Тогда по настоянию того же неугомонного отца

Матфея писатель совершил паломничество на Святую землю. До московской заставы его вызвалась проводить одна добрая старушка, большая его поклонница. На прощание она осенила его крестом и уже собиралась было сесть в карету и отбыть восвояси, как к Гоголю обратился чиновник, проверявший заграничные паспорта у отъезжающих за границу: «Кто из вас едет в Палестину?» Гоголь вдруг ответил: «Вот эта дама!» — бросился в коляску и был таков, оставив старушку в большом затруднении...

До Палестины Николай Васильевич все же добрался. Но паломничество, начавшееся столь дико, кончилось неудачей.

«В Назарете, застигнутый дождем, я просидел два дня, совершенно забыв, где нахожусь, точно где-нибудь в России на станции. В Иерусалиме как следует помолиться не смог, и только разве что больше увидел черствость свою!» —

сетовал Гоголь. Он вдруг ощутил себя не то что не святым, а страшным, небывалым грешником, самим присутствием своим оскверняющим Святую землю. И новая волна животного ужаса перед смертью и перед адом накрыла Гоголя. В этом ужасе появился и новый оттенок: Николай Васильевич вообразил, что его могут похоронить заживо. Может, в виде этого кошмара «аукнулись» ему его «мертвые души» да деятельные мертвецы, разгуливающие на страницах его книг среди живых, то в виде привидений, как Башмачкин, а то и вовсе во плоти, как утопленница из «Майской ночи». Гоголь написал особое распоряжение:

«Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже находили на меня минуты жизненного омертвения, сердце и пульс переставали биться».

Никто не поверил, что такое с ним действительно случилось...

Под новый, 1852 год Гоголю немного полегчало. Он был полон сил и энергии, второй том «Мертвых душ» летел к концу, Гоголь охотно читал отрывки друзьям, и те уверяли, что второй том местами вышел не хуже первого. Но 26 января умерла жена друга Гоголя — Хомякова. Николай Васильевич побывал на панихиде, кинул взгляд на покойную и... услышал, как таинственный голос зовет его по имени, как когда-то в детстве. «Это — конец, — понял Гоголь. — Хомякова позвала меня за собой».

Не дожидаясь Великого поста, он начал строго поститься. Бывали дни, когда Гоголь питался одной только просфорой. Еще он «умерил праздность», то есть, попросту говоря, не позволял себе спать, по ночам молился, утром шел к заутрене, а днем позволял себе разве что ненадолго присесть в кресло. В четверг на Масленицу он исповедался и причастился. А потом взял извозчика и поехал к Преображенской больнице, где содержались умалишенные. Постоял у ворот да и поехал обратно. До сих пор не ясно, к кому приезжал Гоголь: к врачам или к некоему сумасшедшему прорицателю Корейше, к которому вся Москва ездила советоваться.

И день за днем потянулись в слезах, молитвах и строжайшем посте. 10 февраля Гоголь позвал к себе Толстого и хотел отдать ему свои рукописи — граф не взял, чтобы убедить больного, что вовсе не считает его умирающим. И напрасно! В ночь с 11 на 12 февраля Гоголь разбудил своего крепостного мальчика Семена и велел затопить печь в кабинете. По дороге туда Николай Васильевич останавливался в каждой комнате и крестился. Портфель с рукописями он при этом держал под мышкой.

Когда Гоголь бросил в огонь свернутые в трубочку и перевязанные тесемкой тетради, Семен упал на колени и слезно умолял барина опомниться. «Не твое дело!» — отвечал Николай Васильевич. Тугая связка все не разгоралась, и Гоголь вытащил ее из огня, развязал и снова отправил в пекло, ворочая бумагу кочергой до тех пор, пока не остался один пепел. Так погиб второй том «Мертвых душ», за исключением тех нескольких глав, что были не в портфеле, а в шкафу, и о которых Гоголь забыл.

Больной возвратился в свою комнату, лег на диван и зарыдал. Решить, кто заставил его сжечь плод 10-летней упорной работы — Бог или дьявол, он не мог, как не мог

определить, кем же из них была навеяна ему идея книги. Как бы то ни было, жить Гоголю теперь было решительно незачем. Миновали еще 10 дней. Гоголь совершенно успокоился, хотя и чудовищно ослаб. Теперь он не умывался, не одевался, только неподвижно лежал на диване с просветленным взором и ясным лицом и на все приставания друзей, врачей и священников отвечал: «Оставьте меня, мне хорошо!» Но оставить его не решились. Мало того, будто спохватившись после столь долгого бездействия, принялись его лечить.

К Гоголю были приглашены новые врачи, энергично взявшиеся за дело. Они давили ему на мягкий пустой живот, через который теперь легко прощупывался позвоночник, причиняя пациенту невыносимую боль. Лили на голову холодную воду, словно Поприщину из «Записок сумасшедшего». Обкладывали тело обжигающе горячим хлебом. И, что самое страшное, вешали на нос пиявки. Это ему-то, Гоголю, с детства питавшему отвращение к склизкости и увертливости (вспомним убитых тростью ящериц да червяков)! Гоголю, панически боявшемуся черта — по его представлению, близкого родственника этих тварей! И куда? Нанос! На тот самый нос, которым Гоголь воспринимал мир, в который он мечтал бы весь обратиться, чтобы втягивать запах цветов и весны! Больной то визжал и вырывался, то умолял: «Снимите пиявки! Ради всего святого, уберите их!» — но его крепко держали за руки.

За несколько часов до смерти, когда у Гоголя уже началась агония, врачей осенила новая идея: моцион. Глядишь, больной немного прогуляется — и ощутит прилив жизненных сил! Его, еле живого, стали водить по комнате, переставляя, как кукле, ноги. Один из друзей, вошедший к Гоголю в эту минуту, едва сумел воспрепятствовать всему этому кошмару и отобрать умирающего у мучителей-эскулапов.

В одиннадцатом часу вечера Николай Васильевич очнулся и закричал: «Лестницу, поскорей, давай лестницу!» Это были его последние слова, в чем склонные к мистике люди видят добрый для Гоголя знак. 21 февраля 1852 года в восемь часов утра его дыхание прекратилось. Похороны были пышными, после чего несчастный писатель упокоился в Свято-Даниловом монастыре. Но...

Упокоился, да не совсем. В 1931 году останки писателя решено было перенести на Новодевичье кладбище. Когда раскопали могилу и вскрыли гроб, обнаружилось, что скелет лежит в странной позе, с повернутым набок черепом. По Москве сразу пролетел слух, что Гоголь был похоронен живым...

Но и на этом кошмарная история не кончилась. При перезахоронении присутствовали человек тридцать советских писателей. Некоторые из них не побоялись обзавестись загробными сувенирами — полуистлевшими лоскутками сюртука табачного цвета и черного жилета. Утащили даже хорошо сохранившийся сапог. Куда уж писатели намеревались все это применить — Бог их вест! Один, впрочем, хотел окантовать раритетное первое издание «Мертвых душ» в металл и вставить туда добытый кусочек материи. Но как бы не так! Незадачливый похититель совершенно не мог спать, потому что во сне ему являлся Николай Васильевич и, словно Башмачкин, требовал назад свое имущество. На третий день все писатели стали наперебой звонить друг другу: «Что делать? Гоголь снится!» Ближайшей ночью, собрав похищенное в мешок, они отправились на Новодевичье кладбище и с поклонами да извинениями вернули похищенное владельцу, вырыв для этого небольшую ямку на могиле.

Но едва упокоились останки Гоголя — пришел в движение его памятник. Еще с 1909 года чугунный Гоголь работы скульптора Андреева сидел на Пречистенском бульваре — больной, издерганный, гениальный. В 1952 году памятник убрали в Донской монастырь, а на его месте воздвигли новый, помпезный, с надписью «от Советского правительства». Но в хрущевскую «оттепель» по многочисленным просьбам москвичей андреевский памятник снова переехал, поближе к первоначальному месту, во двор дома № 7 по Никитскому бульвару. Того самого дома, где писатель жил последние годы, сжег второй том «Мертвых душ» и то ли умер, то ли не совсем... Теперь в Москве на расстоянии нескольких сот метров друг от друга красуются два памятника Гоголю.